

Новые книги

КУДА ВЕДУТ ДОРОГИ, МОЩЕННЫЕ БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВА?

Размышления над книгой Джеймса Скотта

Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни / Пер. с англ. Э.Н. Гусинского, Ю.И. Турчаниновой. М.: Университетская книга, 2005.

Барсукова Светлана Юрьевна,

д. соц. н., проф. кафедры экономической социологии ГУ–ВШЭ

Позволю себе стилистическую вольность: книга – шикарная. Без малого шестьсот страниц умного и интересного чтения. Автор, имея оригинальную идею, выносит ее на суд читателя не на голом подносе формальной логики, а представляет в виде изобильного застолья, где по вкусу можно выбрать доказательства из области лесоводства, архитектурных стилей, революций, партийных баталлий, аграрного производства, статистического учета, медицины и др. География иллюстраций охватывает Европу, Америку, Россию, Африку, Юго-Восточную Азию. Прибавьте дрейф во времени и станет понятно: это более чем доказательно, это правдиво.

Основная идея Дж. Скотта: *власть нуждается в упрощениях практики, для чего вводит категории и законы, и неизменно подрывается на результатах своих же усилий.* Потому что нельзя быть наивной такой.

Проектная эволюция: от научного лесоводства к социальным революциям

Прежде чем экспериментировать над обществом, попробовали «упорядочить» природу. Так родилось научное лесоводство. Родом из Пруссии (конец XVIII в.), оно воплотило легендарное прусское представление о порядке и красоте как единообразии и стандартизации – все по ранжиру, деревья одной породы, долой подлесок, прямые просеки вместо витиеватых тропинок. Эстетический компонент был вторичен, в качестве целевой функции выступали экономические показатели продажи древесины. И действительно, доходы от продажи древесины на первых порах научного лесоводства резко возросли. Но вскоре возникла проблема – лес стал чахнуть. Сложные биоцепочки оказались нарушены, и лес вместо источника дохода стал вместилищем колоссальных дотаций (удобрения, борьба с вредителями, необходимость новых посадок и пр.). Лишив лес разнообразия и сложности, снизили потенциал его гибкости и устойчивости.

Но «лесной урок» не пошел впрок. И вот уже идеи прусского лесоводства переходят в архитектуру: выпрямляют улицы, строят монофункциональные кварталы, вычисляют «научные» нормы потребности человека в свете, тепле, пространстве. Потребность поболтать с соседкой по формуле не вычисляется, а следовательно, не признается. Город не для жизни, а для выполнения функций становится новой архитектурной модой. Функции населения понимаются крайне утилитарно: люди должны работать, для чего им необходимо отдыхать, спать, размножаться, быть здоровыми, что требует соблюдения гигиенических стандартов, застывших в камне. К тому же люди должны быть управляемыми, что

предполагает зонирование их деятельности, а также транспортную доступность к самым удаленным точкам города в ходе административных проверок или карательных акций.

И тот же результат: из таких городов уходит жизненная сила. Лес тихо погибал. Гибелью он выражал протест против примитивного научного вмешательства, сводимого к предельному упрощению его внутренней логики. Люди как существа более живучие, к тому же наделенные волей и способностью действовать, гибнуть не торопились. Они бойкотировали архитектурные изыски, отказываясь наслаждаться видом города с высоты птичьего полета и упорствуя в желании получать удовольствие от города, вооружившись логикой и чувствами простого пешехода. И вот уже три четверти населения Бразилиа – архитектурного воплощения идеи «лучезарного города» Ле Корбюзье¹ – поселилось в незапланированных кварталах, в то время как в запланированном городе разместилось меньше половины проектируемого населения.

Покорением пространства не ограничились. Апогеем самонадеянности реформаторов стало целенаправленное изменение общества во всех его проявлениях. Социальное проектирование столь решительно кроит новый костюм мира, что не останавливается перед кромсанием фигуры, лишь бы костюмчик сидел. Власть берет на себя смелость решать, что из нынешнего следует взять в будущее, а что похоронить за ненадобностью. Объектами планирования становятся образ жизни, технологии ведения домашнего хозяйства, гражданская мораль, хозяйственная кооперация и политическая самоорганизация. Прусское лесоводство и русская революция представлены как звенья одной цепи маниакальной инженерии. Лес уподобляется машине прироста древесины, города становятся машинами для жизни, а партия – машиной («локомотивом истории») втягивания масс в светлое будущее, не ими придуманное и не ими желанное. *От перестройки живой природы к упорядочиванию пространства, а затем к моделированию общества – такова в общем виде эволюция притязаний модернистов. У этих вех есть общие основания.*

1. *Порядок, насаждаемый властью, основывается на упрощении практики через предельное сокращение значимых характеристик объекта.* Чем меньше разнообразие объектных проявлений, тем легче этим объектом манипулировать, т.е. научно управлять. «Способы управления требуют сужения поля зрения» (с. 29). Признавая за лесом исключительную способность прирастать древесной массой и отказывая ему в праве и возможности быть вместилищем жизни птиц, зверей, насекомых, преградой ветру и осушителем почв, добились наилучших условий производства древесины. Успехи были столь же впечатляющи, как и временны. Видя в человеке исключительно работника, создали возможность эффективно трудиться – просчитанные до метра кухни не отвлекали от простой задачи насыщения калориями, а стерильная инфраструктура удаленных от деловых зон жилых кварталов не предусматривала другого варианта, кроме физиологического восстановления сил между рабочими сменами (что верно подмечено в названии «спальные микрорайоны»). Логика функциональных городских зон прочитывается и в узкой специализации советских совхозов и колхозов. Целевые преобразования модернистов опираются на представления об однофункциональности объекта.

2. *Проекты по переделке общества, равно как и природы, освящены именем науки.* Преклонение перед словом «прогресс» являлось неотъемлемой чертой интеллектуального настроения XIX и XX вв. Огромные авансы, выданные человечеством науке, безусловно, были не беспочвенны: победы над многими болезнями, развитие транспорта, снятие угрозы голода – лишь начало списка благодеяний науки. Их осязательность породила эйфорию, снимающую вопрос о пределах научного вмешательства. Общество предстало еще одним полигоном облагораживающего проектирования. Безграничная вера во всемогущество науки не позволила

¹ Архитекторами Бразилиа были Кубичек, Коста и Нимейер, однако общепринята точка зрения, что они реализовали эстетические взгляды и архитектурные каноны Ле Корбюзье.

вовремя остановиться. Модерн, устремленный в будущее, оказался довольно безжалостным к настоящему. Западоцентризм науки заклеил иные порядки хозяйствования, сложившиеся в развивающихся странах, как варварские и отсталые.

3) Для осуществления масштабных проектов преобразования общества нужна авторитарная власть. Общество защищается от попыток его «облагородить», и единственный шанс сломить его самооборону – это лишить его институциональных форм самовыражения (свободы слова, институтов гражданского общества, парламентаризма). К тому же «проекты века» дорогостоящи, добиться согласия налогоплательщиков на их осуществление не просто. Идеальна модель власти, гарантирующая беспрекословность масс. Дистанция формального порядка от неформальной практики тем больше, чем меньше демократии. Не случайно мировые архитектурные авангардисты мечтали сотрудничать с советской властью или с амбициозными правителями развивающихся стран, готовыми вести летоисчисление «с нуля». Самые решительные реконструкции Парижа пришлось на правление Луи Бонапарта, а сторонники гигантских индустриальных агрофирм, в первую очередь американцы, завидовали возможностям советских коллег, создающих новый аграрный порядок в ходе коллективизации. Только авторитарная власть могла предоставить модернистам площадку под эксперименты, словно выровненную бульдозером. В других условиях преобразования надо было вписывать в уже существующий контекст, адаптировать к традициям, учитывать готовность населения к нововведениям. Вряд ли что-то раздражало преобразователей более, чем эти ограничения. И отношение к ним было, как к песку в двигателе устремленной в будущее машины. Показательно, что Ле Корбюзье называл строительство в уже сложившемся архитектурном ансамбле «ортопедической архитектурой». Для полного счастья ему не хватало дружбы с советским правительством.

Понятие высокого модернизма

У Дж. Скотта важную концептуальную нагрузку несет понятие *высокого модерна*². «Высокий модернизм есть особая, подчеркнутая уверенность в перспективах применения технического и научного прогресса – обычно при посредстве государства – в каждой области человеческой деятельности» (с. 152–153). Его черты:

- космополитизм, вера в возможность и целесообразность решительного разрыва с историей и традицией³;
- стандартизация проектов, их опора на «муляжи физической и социальной среды»⁴;
- безоговорочная вера в науку, в ее превосходство над живой практикой в определении того, как надо хозяйствовать;
- опора на государственную власть как главный ресурс реализации модернистских планов;

² Дж. Скотт заимствовал термин «высокий модерн» у Дэвида Харви, который относил высшую точку этого вида модернизма к концу Второй мировой войны.

³ Проект Москвы, отклоненный советскими чиновниками, Ле Корбюзье без всякой переделки представил для центра Парижа. Он лишь удалил все ссылки на Москву. В Москве «планировщик мечты» построил здание Центрального союза потребительских кооперативов (Центросоюз).

⁴ Замечательный пример, как три американских проектировщика спланировали советский совхоз за пару недель в чикагском гостиничном номере. Этот эксперимент – совхоз «Верблюды», основанный в 1928 г. под Ростовом-на-Дону, – завершился полным провалом.

- особая эстетика как «квазирелигиозная вера в наглядный символ порядка», воспевание простых форм, пронизанных идеей запланированности и восприимчивости к управлению⁵;
- устремленность в будущее, огромный энтузиазм и революционная гордость преобразователей;
- отсутствие связи с конкретным политическим направлением, принципиальная возможность существовать при разных политических режимах, в разных политических версиях и риториках.

По мнению Дж. Скотта, еще в XVIII в. европейские государства имели весьма скромные притязания на навязывание обществу собственных схем. Это были лишь «добывающие механизмы», извлекающие доход, провиант и призывников. Укрепление государственности подогрело амбиции, породив комплекс Демиурга, так как силовая, фискальная и административная монополии государства создавали реальные возможности реализации самых смелых планов. Социальный порядок, ранее принимаемый властью как данность, стал предметом активного проектирования в соответствии с рациональными, научными критериями. Отличие высокомодернистского государства от своего предшественника состояло в переходе *от описаний* и обзрений общества *к предписаниям* и усилиям по их реализации. Эволюция примерно следующая: контроль за обществом как данностью породил упрощающую категорию *средних* показателей, затем среднее приобретает статус *нормального*, а затем сциентизм корректирует нормальное в *нормативное* состояние. Высокий модерн сводится к *переделке* мира, скептицизм по поводу чего впоследствии составит суть постмодерна.

Препятствия радикальным версиям высокого модерна в западных обществах имели различную природу:

- неприкосновенность частного мира как ценность либерального мировоззрения;
- общественное сопротивление, реальное или потенциальное;
- роль частного сектора в классической политической экономии;
- неизбежно возникающая коррупция;
- низкая экономическая эффективность многих реализованных модернистских фантазий.

По поводу последнего пункта надо сделать оговорку. Дж. Скотт считал централизующий высокий модернизм абсолютно оправданным для решения таких задач, как освоение космоса, планирование транспортной сети, контроль эпидемий и пр. Более того, даже колхозы могли быть эффективны, если ограничивались выращиванием зерновых культур. Но они оказались нерезультативны при работе с «мелкобуржуазными» фруктами, овощами, цветами и пр., требующими оперативности и гибкости реагирования, личной заинтересованности и высокой опытности. То есть разговор идет не об отрицании модернистских проектов вообще, а об их *избирательной эффективности*. Как общее правило: чем более приближен реальный объект к его аналитически упрощенному образу, тем проще и эффективнее его целенаправленное изменение. Наоборот, чем сложнее и разнообразнее реформируемый мир, тем утопичнее надежды на его эффективную переделку. XX в. показал возможности человека в покорении космоса и полную несостоятельность попыток превратить плененных крестьян в эффективных производителей. Опыт России дополнен историей «плановых деревень» Танзании и Эфиопии.

⁵ «...Допущение состоит в том, что если что-то выглядит правильно, то в силу этого факта оно и работать будет хорошо» (с. 356).

Игра важней, чем правила игры

Книга провоцирует на размышления о соотношении формальных и неформальных институтов. Поделюсь ими.

1. *Формальные правила, даже если они не выражают проектного замысла, являясь всего лишь законодательной фиксацией сложившегося порядка, порождают конфликт Закона и Практики.*

Стало социологическим трюизмом, что «привнесенные» (имплантируемые) институты, вытекающие исключительно из проектных устремлений власти, а не из сложившейся практики, – чужеродны и обществом отторгаются. Менее осмыслен факт, что кодификация выработанных практикой (т.е. «своих») институтов – процесс не менее конфликтный, требующий значительных силовых и политических инвестиций.

Дело в том, что кодифицировать можно не практику вообще, а лишь ее *конкретный* вариант. Но вариантов – бесконечное разнообразие, поскольку их эффективность исключительно *контекстуальна*. Иными словами, наработанные способы ведения хозяйства и разрешения хозяйственных коллизий хороши или плохи не сами по себе, а строго в зависимости от контекста их использования. Контекстуально обусловленное множество практик контрастирует с идеей универсальности закона. Именно поэтому *кодификация – это всегда вопрос политический*, поскольку власть реализуется в праве выбирать «наилучший вариант» из всего существующего в практике: «...те, кто формулирует эти правила, расширили свою власть и, соответственно, уменьшили власть всех прочих» (с. 474). Так возникает, пользуясь метафорой Скотта, «институциональная смиренная рубашка государственного образца».

Но даже если предположить, что мир вдруг стал примитивно однородным, остается еще одна трудность – изменчивость мира, его динамизм. Формальный институт – это кодификация *уже* сложившегося порядка. Пластичные неформальные правила получают шанс на формализацию не ранее, чем станут распространенными и устойчивыми. Таким образом, конфликт Закона и Практики вытекает не из «дурной природы» человека, а из принципиальной невозможности кодифицировать неформальные правила, не лишив их при этом разнообразия, контекстуальности и пластичности.

2. *Формальные институты могут работать исключительно при условии их неформальной коррекции, т.е. формальные нормы паразитируют на неформальной практике.*

Яркий пример – советские колхозы. Село выживало за счет деятельности, не только не предусмотренной, но категорически запрещенной плановыми органами. В ЛПХ рачительно оприходовали все, что можно было своровать в колхозах (удобрения, корма, бензин, рабочее время и пр.). Да и сами колхозы смягчали плановые тиски за счет теневых импровизаций и бартера. Социальный и экономический крах предотвращался внеплановыми, а иногда и незаконными действиями.

Упрощенная кодификация в принципе не способна воспроизвести функционирующее сообщество. Формальный контур порождает «неформальную тень», реализующую его различные внеплановые потребности. «Чем больше претенциозности и настойчивости в официально изданном приказе, тем больший объем неформальных методов необходим, чтобы поддерживать эту фикцию» (с. 404). На этом держатся так называемые «итальянские забастовки», блокирующие деятельность предприятий за счет четкого и неукоснительного соблюдения формальных правил.

3. *Исход формальных новаций всегда неопределен, а неформальное «эхо» может быть значительнее по социально-экономическим последствиям, чем породивший его формальный повод.*

Показательно введение во Франции времен Директории налога на «двери и окна», чтобы упростить взимание пошлины с площади жилья. В результате дома стали строить и

перестраивать так, чтобы было как можно меньше окон. Это вошло в строительную практику крестьян. Налог был отменен, а влияние духоты на здоровье сельского населения продолжалось более столетия.

Государство и общество находятся в постоянном состязательном диалоге. Государство упрощает, стандартизирует, гомогенизирует практику, загоняя ее в формат категорий и законов, ради того, чтобы сделать ее доступной для контроля и управления. Общество же демонстрирует способность «изменять, ниспровергать, затормаживать и даже уничтожать навязанные сверху категории» (с. 78). На каждый тезис власти находится антитезис шумного и неупорядоченного реального мира. При этом закон может быть аннулирован, а порожденная им неформальная практика войдет в корпус обычаев, не подвластных росчерку пера правителя.

* * *

Закончить хотелось бы извинениями перед Дж. Скоттом и читателями: книга гораздо сложнее и интереснее, чем мои размышления о ней. Это подтверждает правоту автора: любое структурированное представление опирается на упрощение исходного материала. Выработка же упрощающей оптики – вопрос властных полномочий. В данном случае реализовано мое право рецензента. Единственный способ противостоять моим интерпретациям – читать книгу Дж. Скотта.